ПОДЬЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 8

# ПРАЗДНИКА НЕ БЫЛО

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

# Праздника не было

«Автор»
2026

**Demidov A.**

Праздника не было / A. Demidov — «Автор», 2026

Казань, май 1663 года. У дороги в березняке лежит убитый. Кто-то расправил ему кафтан, а коня отвёл в овраг. Подьячего Тимофея Ершова занимает одна странность. Зачем так бережно несли мёртвого человека?След ведёт за Казанку, на луг, где в воскресенье скакали наперегонки. Серую кобылу, пришедшую первой, при всех взяли за долг. Сотни людей видели, как это вышло. Но конные игры были под запретом, и на любой вопрос у слободы один ответ. Праздника не было.А потом к Ершову приходит мальчишка с мокрыми ногами. Он видел, кто ударил. Ершову остаётся потянуться за чернильницей — и за мальчиком придут стрельцы. Пока подьячий ищет другую улику, в холодную сажают четверых стариков. Один из них кашляет всю ночь.Чьё имя Ершов положит на бумагу, если за правду в любом случае заплатит тот, кто никого не убивал?

© Demidov A., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Часть первая. Запрет 6
Глава первая. Ногайская дорога 6
Глава вторая. Гонец 9
Глава третья. Тело 12
Глава четвёртая. Запрет 16
Глава пятая. «Я там был» 19
Глава шестая. Кабала 23
Конец ознакомительного фрагмента. 26

# Aleksandr Demidov
# Праздника не было

Александр Демидов
Праздника не было
Исторический детектив
Серия «Подьячий Ершов»
Книга восьмая

# Часть первая. Запрет

## Глава первая. Ногайская дорога

В Никольское Ершов въехал в Николин день, и это была ошибка.

Он понял её ещё за версту, когда навстречу попалась телега с бочонком, а на бочонке, обняв его, как жену, спал мужик. Лошадь шла сама. Она остановилась, когда поравнялась с Ершовым, посмотрела на него, на его лошадь, на его сундук, привязанный за седлом, — и пошла дальше, к лесу, не дожидаясь, пока мужик проснётся.

— Престол у них, — сказал ямщик, который ехал с Ершовым от самого Сокура. — Никола вешний. Теперь до среды.

— До какой среды?

— До той, — сказал ямщик, — когда пиво кончится.

Село было большое, дворцовое, на взгорке над речкой, с деревянной церковью, у которой звонили так, будто звонарь решил сегодня отзвонить за весь год. У церкви, на лужку, стояли столы. На столах стояли ендовы. У столов стояло всё село — мужики в новых рубахах, бабы в праздничных кичках, девки, дети, собаки, — и все пели, но разное.

Ершов слез с лошади.

Он девятый месяц ездил по уезду. С осени — по Арской, потом по Зюрейской, потом, когда встал санный путь, по Галицкой, где снегу было по брюхо, и где в одном селе его три дня не выпускали из-за метели, и он прожил эти три дня в избе у дьячка, читая дьячку вслух Псалтирь, потому что дьячок был грамотный, но слепой. На Пасху он был дома. Неделю. Потом Вешняков сказал: Ногайская. Дальние сёла, что осенью не успел, — дорога высохла, поезжай. И он поехал.

Это было последнее село в росписи. Рукавишниковское.

Рукавишников, когда Ершов осенью уезжал, покраснел. Ершов помнил: от шеи вверх, медленно, как краснеет железо. «Я там медью брал, — сказал он тогда, никем не спрошенный. — Всё медью». Ершов всю зиму помнил эту шею. Он объехал по Ногайской одиннадцать сёл и в одиннадцати сёлах нашёл одно и то же: брал медью, писал медью, дворы целы, никто не жалуется, книга сходится до деньги. Рукавишников оказался честным подьячим. Это было почти обидно.

Оставалось Никольское.

Старосту нашли не сразу. Сначала нашли его жену — она стояла у столов и разливала, — и она сказала, что староста в церкви. В церкви его не было. Потом сказали, что у попа. У попа его тоже не было, но был поп, и поп, узнав, что приехал подьячий из Казани, обрадовался, налил Ершову ковш и сказал, что у них нынче престол, что Николай Угодник — заступник всех путешествующих, и что если подьячий путешествует, то ему сам бог велел выпить за угодника. Ершов выпил. Пиво было густое, тёмное, сладковатое, с хмелем, и он почувствовал его сразу, ногами, — он ничего не ел с утра.

Старосту нашли за баней. Он сидел на бревне и разговаривал с козой.

— Подьячий, — сказали ему. — Из Казани. Книгу смотреть.

Староста посмотрел на Ершова. Посмотрел на козу. Встал. Был он немолодой, кряжистый, с бородой, которую кто-то, видно жена, с утра расчесал, а к обеду она уже снова стояла во все стороны.

— Какую книгу? — спросил он.

— Летошний сбор. Полтинный. Подьячий Рукавишников брал.

— А, — сказал староста. — Брал. — Он подумал. — Медью.

— Медью?

— Медью. — Староста покачал головой, будто удивлялся, что кто-то может спросить такую глупость. — Указ был — медью. Мы медью дали. Он медью взял.

— Покажи, — сказал Ершов.

Это заняло до вечера.

Книги у старосты не было — книга была у Рукавишникова, в Казани, и Ершов её видел. У старосты был список дворов, писанный дьячком, а у дьячка — отписи, сложенные в коробье под божницей. Дьячок был пьян. Не очень, но достаточно, чтобы долго искать коробье, найти его, открыть и обнаружить, что там не отписи, а свечные огарки. Отписи нашлись в другом коробье. Ершов сел в избе у дьячка, разложил отписи на столе и стал сверять с тем, что выписал из рукавишниковской книги перед отъездом.

Сверял он, а в окно лезла песня. Одна и та же — про Николу, который по морю ходил, — только с каждым разом пели её медленнее.

Сошлось. Двор за двором. Медью.

Ершов положил последнюю отпись и посидел.

Он девять месяцев ждал, что где-нибудь не сойдётся. Не потому, что хотел, — а потому, что у сотника за Арском не сошлось, и он потом всю зиму, в каждом селе, в каждой книге, искал, где ещё будет «белое» вместо «красного». И не находил. Нигде. Везде медью, везде по указу, везде честно. Он начал думать, что Шудерсола была одна.

Дьячок, сидевший напротив, вдруг сказал:

— А гуся ему дали.

Ершов поднял голову.

— Кому?

— Рукавишникову. — Дьячок моргал. — Как водится. Почесть. Гуся. — Он подумал. — Хорошего. Серого. Он сначала не брал. Говорит — не велено. А староста говорит: от души. Он взял. — Дьячок помолчал. — В книгу не писали.

— Почесть в книгу не пишут, — сказал Ершов.

— Вот и он так сказал. — Дьячок обрадовался. — А потом, говорят, всю дорогу боялся. Что гусь орал. Он его в мешке вёз, а гусь орал. До самого Сокура.

Ершов смотрел на дьячка.

Потом стал смеяться.

Он смеялся долго, сидя над отписями, с ковшом николина пива в желудке и без обеда, — смеялся так, что дьячок сначала тоже засмеялся, не понимая чему, потом перестал и испугался, потом пошёл к окну и позвал кого-то с улицы. Девять месяцев. Одиннадцать сёл и двенадцатое. Покрасневшая шея. Гусь. Серый, хороший, орал до Сокура.

— Ты чего, подьячий? — спросил староста, войдя.

— Ничего, — сказал Ершов. Вытер глаза. — Всё сошлось.

Вечером его кормили.

Отказаться было нельзя — Ершов попробовал, и староста обиделся так, что жена его вышла из-за стола. Его посадили в избу к старосте, за стол, под образа, рядом с попом, и кормили пирогами — с рыбой, с кашей, с яйцом, — и студнем, и ещё чем-то, что он не разобрал. Пиво носили ендовами. Ершов пил мало, по глотку, и всякий раз, когда ставил ковш, ковш оказывался полным.

Яиц было много. На столе — крашеные, ещё с Пасхи, и свежие, варёные, и в пирогах. Ершов сказал об этом — просто так, чтобы что-нибудь сказать, — и староста кивнул.

— Яиц нынче много, — сказал он. — Куры несутся. Татары берут.

— Какие татары?

— Из-за речки. Ихние деревни. — Староста махнул рукой куда-то на восток, в темноту за окном. — Неделю ходили. Бабы им яиц продали — сотен пять, не меньше. Медью платили. — Он засмеялся. — Бабам хорошо.

— Зачем им столько?

— К ихнему празднику, — сказал поп. Он ел пирог и говорил с полным ртом. — Сабантуй у них. Как у нас Никола — так у них сабан. Каждую весну, перед пахотой. Яйца на подарки собирают, потом скачут, борются. — Он прожевал. — Бесовское, конечно. Но весёлое.

Ершов помолчал.

— Им же не велено, — сказал он. — Нынче. Скопом не съезжаться. Воевода память дал. В апреле ещё.

Староста посмотрел на попа. Поп посмотрел на старосту.

— Яйца не велено? — спросил староста.

— Съезжаться.

— А, — сказал староста. Подумал. — А яйца им можно?

Ершов не нашёлся, что ответить.

— Про яйца ничего не было, — сказал он наконец.

— Ну вот, — сказал староста, удовлетворённо, как человек, который разобрался в государевом указе лучше подьячего. — Яйца можно.

Поп засмеялся. Староста засмеялся. Жена старосты принесла ещё пирог.

Спать Ершова положили на сеновал — в избе спали гости из соседнего села, двенадцать человек, на лавках, на полатях, на полу, — и он лёг на сено, укрылся кафтаном и долго лежал, слушая, как внизу, у церкви, всё ещё поют. Песня была всё та же. Теперь её пели совсем медленно, и в ней оставалось слова три.

Он думал, что завтра поедет назад. В Казань. Через Сокур, где, наверное, ещё помнят гуся. Отдаст Вешнякову отписи. И что Вешняков спросит: «Сошлось?» — и он скажет: «Сошлось», — и Вешняков кивнёт, и это будет всё. Девять месяцев — и «сошлось».

Под сеновалом кто-то ходил, спотыкаясь, и искал дверь.

Нашёл. Не ту. Заблеяла коза.

# Глава вторая. Гонец

Ямщик не проснулся.

Ершов будил его долго — сначала словами, потом за плечо, потом за ногу, — и ямщик каждый раз открывал один глаз, говорил «сейчас» и закрывал. Он спал в телеге, под рогожей, обняв, как давешний мужик бочонок, Ершовский сундук. Лошадь его стояла у плетня и ела чужую солому. Хозяин соломы, мужик в рубахе, надетой задом наперёд, смотрел на это из окна и ничего не делал: праздник.

Над селом звонили к обедне. Звонили хуже, чем вчера, — с перерывами, будто звонарь между ударами вспоминал, зачем полез на колокольню.

Ершов решил не ждать. Он отвязал от телеги свою лошадь, пересчитал отписи из двенадцати сёл, перевязанные бечёвкой, сказал старостиной жене, что ямщик с сундуком пусть едет за ним в Казань, когда проснётся, а куда — в приказную избу, к Пантелею, и поехал один.

— Ты хоть поешь, подьячий! — крикнула старостиха ему вслед.

Он не обернулся. Есть ему не хотелось. Хотелось пить, и голова была тяжёлая, как будто в неё налили вчерашнего пива и забыли вылить.

Дорога от Никольского шла через лес, потом полем, потом опять лесом. Было тепло и сыро. В лесу пахло прелым листом, а в поле — землёй: её уже начали пахать, кое-где, на взгорках, где просохло, и Ершов видел вдалеке, на краю поля, лошадь с сохой и мужика, который шёл за ней, не глядя по сторонам. Праздник был не для всех.

Он думал о гусе. Вешнякову он, понятное дело, не скажет. Ответит, что сошлось. Но мысль о гусе вызывала улыбку.

У Сакуркадыша — сельца, которое все звали Сокуром, — он остановился напоить лошадь. Сокур был тише Никольского — здесь Никола был не престольный, — и у колодца стояли две бабы и смотрели на Ершова так, как смотрят в сёлах на одинокого приказного: без страха, но с интересом, кого он сейчас будет спрашивать и про что. Он не спросил ничего. Он напоил лошадь, напился сам из бадьи, вылил остаток себе на голову и поехал дальше.

Гаврилу он увидел за Сокуром, вёрст через пять.

Сначала — пыль на дороге впереди. Потом всадника. Всадник ехал рысью, на казённой лошади, в стрелецком кафтане, распахнутом, без шапки, — и Ершов не сразу его узнал, потому что ни разу не видел Гаврилу верхом. Гаврила стоял на часах. Гаврила сидел у холодной. Гаврила ел лепёшки. Верхом он сидел так, будто лошадь была мешком, который нужно не уронить.

Он увидел Ершова, натянул повод, лошадь встала. Гаврила чуть не съехал ей на шею.

— Тимофей Андреевич, — сказал он. Голос у него был сиплый. — Я тебя ищу.

— Нашёл.

— Нашёл, — согласился Гаврила. Он сидел и дышал. Лошадь под ним тоже дышала, вся в мыле. — Я ведь до Никольского. Мне сказали — в Никольском.

— Кто сказал?

— Ефим Ларионович. — Гаврила полез за пазуху, долго искал там что-то, нашёл и протянул Ершову сложенный лист. Лист был тёплый и чуть влажный. — Велел — в руки.

Ершов развернул.

Вешняковская рука — мелкая, ровная. Написано коротко, без обращения, без «по государеву указу»: только дело.

«Тимофею Ершову. Ехать тотчас к перевозу на Казанке, за реку. На дороге за перевозом найден мёртв новокрещён Денис, лошадьми торгует. Губные пишут — с коня убился. Посмотри сам. Е. В.»

Ершов прочёл два раза. Сложил.

— Когда нашли?

— С утра. — Гаврила вытер лоб рукавом. — Рано. Перевозчик нашёл. Или не он — я не понял. Он прибежал. Наши были на карауле у Арских, ему сказали — к губному, он к губному. Губной своих послал. Кузёмку.

— А Ефим Ларионович как узнал?

— Он в избе был, — сказал Гаврила. — В воскресенье. С утра. — Он подумал. — Он, по-моему, всегда в избе.

Ершов посмотрел на него. Гаврила смотрел честно.

— А потом?

— Потом Кузёмка вернулся и сказал губному: с коня. А губной пошёл к Ефиму Ларионовичу сказать, что с коня. Я как раз у крыльца стоял. — Гаврила понизил голос, хотя на дороге, кроме них, никого не было. — А Ефим Ларионович говорит губному: «С коня — это когда конь рядом. А конь где?» Губной говорит: «Нашли коня. В овраге пасётся». Ефим Ларионович говорит: «Сам пасётся?» — «Сам». — «Спутанный?» Губной молчит. Потом говорит: «Спутанный». — Гаврила помолчал. — Ефим Ларионович тогда сел и написал. И мне. Ехай, говорит, к Ершову. Гони.

— Ты и гнал.

— Гнал, — сказал Гаврила с гордостью. Потом посмотрел на лошадь под собой. — Ей бы отдохнуть.

Ершов думал.

Спутанный конь. Человек упал, убился — а конь отошёл в овраг, спутал себе ноги и стал пастись. Ершову вдруг вспомнился вчерашний староста: «Яйца не велено?» Он не понял, почему вспомнился, и прогнал.

— Назад в Сокур, — сказал Ершов. — Там сменишь.

Гаврила вздохнул, развернул лошадь — с третьего раза — и поехал рядом.

В Сокуре лошадь меняли долго. Староста сначала не давал, потом дал, но не ту, потом пришёл хозяин той и забрал, и дали третью — гнедую, старую, с провисшей спиной, которая смотрела на Гаврилу так, будто знала про него что-то нехорошее. Ершов сидел на бревне у колодца и ждал. Пять вёрст назад, пять вёрст снова. Он думал, что к перевозу приедет позже, чем мог бы, и что там, на дороге, без него, за это время всё успеет стать таким, каким его захотят видеть.

Поехали, когда солнце уже стояло высоко. Было жарко, лошади потели. Гаврила рассказывал — не потому, что Ершов спрашивал, а потому, что не умел ехать молча.

Денис этот — из новокрещенских дворов у Казанки. Лошадьми торгует, и кожей, и всем, что с лошади. Богатый. Крестился давно, лет десять назад, ещё при прежнем воеводе. Жена у него крещёная, из своих же. Дети. Двор хороший, с амбаром. Его на торгу знают. Его, сказал Гаврила, и в избе знают: он кабалы пишет. Как ни придёт, так кабалу.

— Какие кабалы?

— На лошадей. — Гаврила пожал плечами. — Кто у него лошадь возьмёт, а денег нет, — он кабалу. Кто ему должен — кабалу. Он их любит, кабалы. Говорят, у него их сундук.

— Кто говорит?

— Все, — сказал Гаврила. — Наши. Татары. — Он подумал. — Татары больше.

Ершов спросил про жену самого Гаврилы. Гаврила просиял и рассказал. Сын. Год и семь месяцев. Ходит. Говорит «тятя» и «дай». «Дай» — чаще. Ест всё. Вчера съел уголёк.

— И что?

— Ничего, — сказал Гаврила. — Чёрный стал. Изнутри. Жена говорит — к лучшему.

Было уже за полдень, когда показалась Казань.

Сначала — купола, потом стены, потом весь кремль на горе, белый и бурый, с башнями, и посад под ним, и дым над посадом. Ершов не видел её две недели. Он смотрел на неё с дороги и думал, что за девять месяцев видел её так, со стороны, раз шесть — подъезжая и уезжая, —

и ни разу не жил в ней дольше недели. Город был свой. Дом был в нём свой. А он подъезжал к нему как гонец.

— Домой не завернёшь? — спросил Гаврила, будто подслушал.

— Нет.

Гаврила кивнул, будто так и думал.

Они обогнули посад по краю, не въезжая, мимо Арского поля, мимо стрелецких огородов, где бабы сажали лук, — и спустились к Казанке.

Перевоз был ниже кремля, где река сужалась. Паром — плот на канате, с перилами из жердей, — стоял у этого берега. На бревне у сходней сидел перевозчик и ел редьку.

Ершов его видел раньше — раз или два, издали. Старик, сухой, в рваной шапке, с бородой, в которой застряли крошки, кажется, ещё с Пасхи. Перевозчик посмотрел на Ершова, на Гаврилу, на лошадей. Откусил редьки.

— Нам за реку, — сказал Ершов. — Тотчас.

Перевозчик подумал. Доел редьку. Вытер руки о порты. Встал, медленно, и пошёл к сходням.

Ершов завёл лошадь на паром. Гаврила завёл свою — гнедая не хотела на паром, Гаврила её уговаривал по-стрелецки, долго, — и перевозчик взялся за канат. Паром поплыл боком, как пёс, который не уверен, что его позвали.

Ершов смотрел на старика.

— Ты нашёл? — спросил он.

Перевозчик тянул канат.

— Чего?

— Мёртвого. На дороге.

— Я, — сказал перевозчик, не оборачиваясь. — С утра пошёл за реку, на ту сторону, сети смотреть. Гляжу — лежит. Татарин. Крещёный. Я его знаю, он у меня возит лошадей, платит. Лежит. Я к губному.

— Рано пошёл?

— Как рассвело.

— А ночью кто переправлялся?

Перевозчик перестал тянуть. Паром был на середине реки. Он постоял, держа канат, и посмотрел на Ершова — первый раз прямо.

— Ночью я сплю, — сказал он.

Он сказал это спокойно, без обиды, как говорят «вода мокрая», — и снова стал тянуть.

Недалеко от того берега он сказал:

— С двоих, с лошадьми, восемь денег.

— Откуда восемь?

— Медью нынче вдвое, — сказал перевозчик. — И воскресенье. Это ещё по-божески.

Ершов полез за пазуху. Нашёл медь. Отсчитал.

Перевозчик взял, посмотрел на медь на ладони. Ничего не сказал. Положил в шапку.

Паром ткнулся в другой берег.

# Глава третья. Тело

На том берегу дорога шла вверх, от реки, через луг, мимо огородов и выпаса, и уходила в березняк. Место Ершов нашёл сам: Гаврила не знал, где, а перевозчик, когда Ершов обернулся спросить, уже сидел на своём бревне и смотрел в другую сторону.

Найти было нетрудно. За первым поворотом, где дорога выходила из березняка на открытое, у обочины стояла воткнутая в землю палка с привязанной тряпкой. Кузёмка оставил. Ершов узнал его руку и в этом: тряпка была завязана коротко, одним узлом, чтобы не возиться.

Ершов слез с лошади и долго стоял.

Дорога как дорога. Две колеи, засохшие после дождя, между ними трава, по краям подорожник. Следы — копыта, колёса, лапти, босые ноги, что-то похожее на мягкий сапог без каблука. Много следов. На дороге за перевозом всегда много следов. Ершов прошёл вперёд, вернулся, прошёл назад. Там, где была тряпка, дорожная пыль лежала ровно, будто её не трогали, а у самой обочины, на подорожнике, трава была примята — длинным пятном, в рост человека.

Он присел.

Подорожник у обочины был низкий, пыльный и сухой: сюда солнце приходило с утра. На примятом лежали травинки. Не подорожника. Другие — тонкие, с метёлками, с мелким семенем, какие растут не у дороги, а на лугу, на сыром, где их не топчут. И один длинный стебель с белым цветком, уже завядшим.

Ершов взял стебель и повертел.

— Чего там? — спросил Гаврила сверху, с лошади.

— Трава.

Гаврила посмотрел на траву по обочинам, на луг за дорогой, на березняк. Травы было много везде.

— А, — сказал он.

Ершов встал. Посмотрел, откуда могла бы прийти лошадь, если бы седок с неё упал. Лошадь пугается, встаёт на дыбы, бьёт задом, человек падает, лошадь бежит. На дороге остаются следы: где встала, где рванула, где пошла вскачь. Здесь их не было. Были ровные колеи и ровная пыль. Как будто человек упал с неба.

Овраг, где нашли коня, был в полуверсте, за березняком, в стороне от дороги. Ершов съездил туда тоже. Овраг как овраг: склоны в кустах, на дне ручей, по ручью трава. Трава была выбита копытами в одном месте — там, видно, конь и стоял, на путах, и щипал, сколько доставал. Пут не было: забрали вместе с конём.

— Сам дошёл, — сказал Гаврила. — Сам спутался. Сам пасся. — Он подумал. — Умный конь.

Ершов посмотрел на него. Гаврила был серьёзен.

Тело увезли в новокрещенские дворы у Подлужной слободы.

Пришлось опять переправляться. Перевозчик, увидев их снова, ничего не сказал, взялся за канат и только посреди реки, не оборачиваясь, произнёс: «Восемь». Ершов отсчитал. Гаврила посмотрел на медь в шапке у старика с таким лицом, будто считал, сколько это лепёшек.

Новокрещенские дворы лежали по этому берегу, ниже, у самой Казанки, — улица в два порядка, дворы, огороды к воде, церковь в конце, деревянная, небольшая, с одной главой, крытой чешуёй, ещё светлой. Дворы были как у русских — ворота, тын, изба окном на улицу, — только на одних воротах был вырезан крест, а на других не было ничего, и у некоторых изб висели под стрехой связки трав, как висят у татар.

У церкви стояли люди. Мужчины в русских кафтанах и в татарских шапках. Женщины в платках, повязанных не по-русски. Они расступились, когда Ершов подъехал, — молча, не глядя на него.

Кузёмка был в паперти.

Рябой, в засаленном кафтане, с чернильным пятном на пальце, он сидел на лавке у стены, рядом с телом, и ел кусок хлеба. Увидев Ершова, он не встал — подвинулся.

— Тимофей Андреевич. — Голос был усталый. — Вернулся?

— Вернулся.

— Это Ефим Ларионович тебя? — Кузёмка доел хлеб. — Я так и думал. Я ему говорю: с коня. Он говорит: а конь где. — Кузёмка вздохнул. — Все теперь умные. Воскресенье, между прочим.

Тело лежало на широкой лавке у стены, накрытое холстом. Ершов откинул холст.

Денис был немолодой — лет сорока пяти, — плотный, широкий в плечах, с короткой бородой, в которой седина шла полосами. Лицо спокойное. Глаза кто-то уже закрыл. Кафтан хороший, русского покроя, синего сукна, с медными пуговицами. На ногах сапоги, крепкие, с подковками. На шее — гайтан, крест на гайтане.

Ершов смотрел на голову.

Над левым ухом, чуть выше и сзади, волосы слиплись. Ершов раздвинул их пальцами. Под волосами была небольшая круглая вмятина, в ноготь величиной. Кожа почти не рассеклась. Крови было немного: запеклась в волосах, стекла за ухо, на ворот.

— С коня головой о камень, — сказал Кузёмка с лавки. — Я смотрел.

— На дороге камень был?

Кузёмка помолчал.

— Не было, — сказал он. — Унесли, может.

— Кто?

— Мало ли.

Ершов перевернул тело на бок, осторожно, — Кузёмка нехотя встал помочь, — и посмотрел на спину.

Кафтан на спине был тёмный. Не от крови — от сырости. Синее сукно намокло и высохло пятнами, а в ворсе, если поднести близко, застряли семена. Мелкие, с пухом. Те же, что на подорожнике у дороги. И ещё травинки — сухие уже, ломкие, — набились за ворот.

— Он на мокром лежал, — сказал Ершов. — Долго.

— Роса, — сказал Кузёмка. — Утро.

— На подорожнике? Он сухой был. А кафтан до плеч промок.

Кузёмка промолчал.

Ершов посмотрел на сапоги. Подошвы были чистые. Не совсем: с зелёным, с прилипшей травой, с землёй, тёмной и влажной, какая бывает на лугу. Пыли — дорожной, серой, той, что лежала ровно у тряпки, — не было.

Потом посмотрел на руки. Руки были большие, торговые, с перстнем на мизинце. На правой ладони, поперёк, от основания пальцев, была содрана кожа — узкой полосой, свежо, как сдирают, когда что-то с силой вырывают из сжатой руки.

— Повод, — сказал Кузёмка. — Когда падал. Держал, а конь рванул.

Это было похоже на правду. Ершов не стал спорить.

Он накрыл тело холстом и выпрямился.

— Ты что написал? — спросил он.

Кузёмка полез за пазуху, достал лист. Подал. Лист был короткий, в четыре строки.

«…новокрещён Денис найден мёртв на дороге за Казанкою, у березника. А убился с коня, а конь сыскан в овраге. А язвы на нём одна, на голове, от падения».

Ершов прочёл.

— Коротко, — сказал он.

— Я коротко пишу. — Кузёмка забрал лист. — Ты знаешь.

Ершов знал. Он помнил другую бумагу, два года назад, тоже Кузёмкину, тоже короткую: «С огнём был». Кузёмка тогда тоже думал, что написал то же самое, только короче.

— Ты не дописал, что спутанный, — сказал Ершов.

— Чего спутанный?

— Конь.

Кузёмка посмотрел на него долго, рябым терпеливым лицом.

— Тимофей Андреевич, — сказал он. — Тут новокрещены. Он крещёный, а родня у него за рекой — некрещёная. Мне губной сказал: лишнего не пиши. А то начнётся. — Он понизил голос. — Сам знаешь, какая нынче весна.

— Какая?

— Такая, — сказал Кузёмка. — Что с коня убиться — самое лучшее, что тут может быть.

Он надел шапку и пошёл к выходу. У двери обернулся.

— Вдова там, — сказал он. — Во дворе. Она по-русски понимает. Говорит хуже.

Вдова стояла у церковной ограды, одна. Женщины в платках держались от неё в двух шагах, как держатся от горячей печи. Она была невысокая, полная, в тёмном русском сарафане и в татарском налобнике под платком, с монетками, — и лицо у неё было сухое. Не плакала. Ершов подумал, что плакала раньше, утром, и что теперь у неё на это нет сил.

Он подошёл, назвался. Вдова посмотрела на него снизу вверх, внимательно, как смотрят на лошадь, которую предлагают купить.

— Ты из избы, — сказала она. Не спросила.

— Из избы.

— Тот, другой, — она мотнула головой туда, куда ушёл Кузёмка, — сказал: с коня.

— Сказал.

Вдова помолчала.

— Он с коня не падал, — сказала она. По-русски, медленно, подбирая слова, как подбирают с пола рассыпанное. — Тридцать лет. Ни разу. Он на коне — как ты на лавке.

Ершов ничего не ответил.

— Ты напишешь? — спросила она.

— Что?

— Что не падал.

— Я напишу, что увижу.

Вдова посмотрела на него ещё раз, так же внимательно. Потом кивнула — коротко, будто цена её устроила, но не обрадовала, — повернулась и ушла в паперть, к мужу.

Гаврилу Ершов отправил в кремль. Велел передать Ефиму Ларионовичу три вещи: Денис с коня не падал; на дороге не лежал; коня отвели в овраг спутанным.

Гаврила вернулся к вечеру.

— Ефим Ларионович сказал: ночуй у перевоза, — передал он. — Утром смотри тот берег. Сам приедет.

Ночевать, значит, в караульной избе у перевоза. Изба была низкая, с одним окном на реку, с лавками по стенам, с печью, которую топили по-чёрному, и с караульным стрельцом, немолодым, который, увидев подьячего, обрадовался, что можно наконец лечь спать, и лёг.

Тихон пришёл, когда уже смеркалось.

Ершов услышал его раньше, чем увидел: Тихон спорил с перевозчиком на том берегу о цене, громко, а потом паром пошёл через реку, и на пароме стоял Тихон — один, с узлом в одной руке и горшком в другой, — и смотрел на воду так, будто она ему должна.

Он сошёл на берег, поклонился, подал узел.

— Рубаха, — сказал он. — Чистая. И онучи.

Подал горшок.

— Каша. С маслом. И пирог там, сверху, в тряпице.

Ершов взял.

— Как узнала?

— Гаврилина жена сказала, — объяснил Тихон. — Она к нам за солью пришла. Гаврила-то, говорит, домой забегал. Наш подьячий, говорит, у перевоза ночует, Ефим Ларионович велел. — Тихон помолчал. — Огрофена Петровна послушала и велела собрать.

Ершов поставил горшок на лавку у двери.

— Она что-нибудь сказала?

Тихон подумал. Видно было, что он вспоминает слово в слово, как велено.

— Сказала: передай, что я не спрашиваю, — сказал он. — Что ты в версте от дома, а домой не идёшь. — Он подумал ещё. — Сказала: значит, дело.

— Это всё?

— Нет, — сказал Тихон. — Ещё сказала: если спросит, что я сказала, — не говори, что я спрашивала.

Он помолчал, проверяя, всё ли передал правильно. Потом сам понял, что передал не то, и покраснел.

Ершов смотрел на него.

— Понял, — сказал он.

— Ты ешь, — сказал Тихон. — Она смотреть будет — съел или нет.

— Как она будет смотреть?

— По горшку, — объяснил Тихон. — Горшок, сказала, верни. Она их считает.

# Глава четвёртая. Запрет

Вешняков пришёл пешком.

Ершов ждал его с рассвета — сначала у сходней, потом на дороге, у Кузёмкиной тряпки, потом опять у сходней, — и думал, что Вешняков приедет верхом, со стремянным, как приезжают приказные, когда хотят, чтобы видели, кто приехал. Вешняков пришёл пешком. Ершов увидел его на том берегу: длинный, тёмный, в кафтане, застёгнутом под горло, он спустился к реке по тропе от посада, постоял у воды и сказал что-то перевозчику.

Перевозчик встал с бревна сразу. Без редьки.

Паром пошёл через реку ровно, не боком. Вешняков стоял на нём посередине, сложив руки за спиной, и смотрел не на воду и не на Ершова, а на тот берег — на дорогу, березняк, луг, — будто читал его, как лист.

Когда паром ткнулся в сходни, Вешняков полез за пазуху и отдал перевозчику что-то на ладони. Ершов не видел, сколько. Перевозчик посмотрел, кивнул, сказал «спаси бог» и ничего больше.

— Тимофей Андреевич, — сказал Вешняков, сойдя.

— Ефим Ларионович.

Вешняков посмотрел на него — на рубаху, чистую, Аграфенину, на вчерашний кафтан поверх, на лицо, — и сказал:

— Ты похудел.

— Девять месяцев.

— Девять, — согласился Вешняков. — Пойдём. Покажи.

Ершов показал.

Он показал тряпку, дорогу, ровную пыль, сухой подорожник, примятое место. Показал, где должны были быть следы коня и где их не было. Сводил к оврагу. Рассказал про спину, про семена в ворсе, про сапоги, про ладонь. Про ладонь сказал, что Кузёмка говорит — повод, и что это может быть правдой.

Вешняков слушал, не перебивая. У оврага он постоял, посмотрел на выбитую копытами траву на дне. Ершов достал из-за пазухи травинку с метёлкой — ту, что вчера вынул из-за ворота Денисова кафтана. Вешняков взял её, повертел.

— Здесь такой нет, — сказал Ершов. — У дороги. И в овраге нет. Я смотрел.

— А где есть?

— На лугах. Ближе к реке. Где сыро. — Ершов помолчал. — Луга тут вёрст на пять.

Вешняков бросил травинку.

— Конь, — сказал он. — Конь его?

— Его. Мерин. Вдова признала.

— Конь здесь пасся с утра. Спутанный. А сам он лежал на лугу, на спине, долго, потом его принесли на дорогу. — Вешняков говорил медленно, как диктуют, чтобы успели записать. — Положили у обочины. Не в колею — на траву. Не бросили.

— Не бросили, — сказал Ершов.

Это ему самому в голову не приходило, а теперь, когда Вешняков сказал, Ершов увидел то место у дороги ещё раз: ровную пыль, подорожник, длинное примятое пятно. Его не бросили. Его положили.

— Сколько их было? — спросил Вешняков.

— Кого?

— Кто нёс.

Ершов подумал.

— Не один. Он тяжёлый. Двое-трое. — Он помолчал. — А следов на дороге много, но тут всегда много.

Вешняков кивнул. Повернулся и пошёл назад, к дороге, длинными шагами, и Ершов пошёл рядом.

У дороги Вешняков остановился и полез за пазуху. Достал сложенный лист. Не развернул, подержал в руке.

— Про память ты слышал, — проговорил он. — А читать не читал. Тебя не было. — Он протянул лист. — Прочти.

Ершов развернул.

Это был отпуск — список с памяти, оставленный в избе, Пантелеевой рукой. Ершов узнал её сразу: Пантелей писал «т» с хвостом вниз, как никто в Казани. А правка на поле — вешняковская.

«…велеть заказ учинить казанским татаром и новокрещеном, и чювашам, и черемисе, и вотякам, и всяким ясачным людем в Казани и в Казанском уезде, чтоб они скопом и съезжаясь не сбирались, и конских ристаний, и игр, и никаких сборищ не чинили до государева указу. Для того что ныне в Уфимском уезде башкирцы Казанской дороги и иных дорог воруют, и государевым людем чинят тесноту, и с ними к воровству приставают многие. А которые учнут съезжатца, и тем за то быть в жестоком наказанье».

Ершов прочёл. Вернул.

— Апрель, — сказал Вешняков. — Я писал. Воевода подписал. Бирючи кликали по слободам три дня.

— Казанской дороги, — сказал Ершов. — Это где?

— Под Уфой. — Вешняков сложил лист. — У башкирцев свои дороги. Казанская, Сибирская, Осинская, Ногайская. Казанская — та, что смотрит на нас. — Он помолчал. — Там с зимы воруют. Деревни жгут, к острогам подходят. Под Уфой неспокойно. Под Мензелинском тоже. Многие казанские татары ходят туда за реку, у них там родня, жёны. Многие не вернулись. — Он посмотрел на Ершова. — Ты в уезде был — слышал?

— Слышал.

Ершов слышал. Зимой, на Зюрейской, в одной татарской деревне его не пустили ночевать, сказали — больные, и он ночевал в бане у русского попа, а поп ему рассказал, что из той деревни за зиму ушли за Каму трое молодых, с конями, и что о них никто ничего не знает. Ершов тогда записал это в свои листы. Вешняков, значит, читал.

— Конный татарский сход у Казани, — сказал Вешняков, — это войско без воеводы. Сто человек на конях. Двести. Под самым кремлём. — Он посмотрел на тот берег, на кремль над рекой, белый и бурый, будто проверял расстояние. — Пусть даже они там только скачут и борются. Пусть даже только яйца катают. А потом кто-нибудь приедет из-за Камы. И скажет: вот вас сколько.

Ершов молчал.

Это была правда. Ершов смотрел на кремль и видел его так, как, должно быть, видел Вешняков: стены, башни, ворота, — и луг перед рекой, ровный, широкий, на котором двести конных встанут так, что из кремля будет видно каждого.

— Ты думаешь, был сход, — сказал Ершов.

— Я ничего не думаю. — Вешняков убрал лист за пазуху. — Я думаю, что он с коня не падал. Ты тоже так думаешь. Вдова тоже. — Он помолчал. — Значит, он умер где-то на лугу. Значит, кто-то это видел. Значит, кто-то его нёс. — Он помолчал ещё. — И никто не пришёл сказать.

— Может, боятся.

— Конечно, боятся, — сказал Вешняков. — Я бы тоже боялся.

Он сказал это просто, без насмешки, и Ершов не понял, что он имеет в виду — того, кто видел убийство, или того, кто нарушил его память.

— Ищи, — сказал Вешняков. — Кто убил. — И, не меняя голоса: — И где съезжались.

— Мне толмач нужен, — сказал Ершов. — За рекой татарские деревни. Я без Ибрагима не поеду.

— Ибрагим не пришёл, — сказал Вешняков.

Ершов посмотрел на него.

— Сказался больным, — сказал Вешняков. — С субботы. Прислал соседского мальчишку: лежит, мол. — Он помолчал. — Я пошлю к тебе Онисима.

Онисима он знал. Онисим был толмач при воеводе, сухой, с длинной шеей и длинными пальцами, учил татарский у пленного муллы в Астрахани и по книгам, знал язык грамот, а торга не понимал, и торг его не понимал. Два года назад Онисим перевёл одно слово так, что человек чуть не пошёл на виселицу, — а потом сам, при всех, сказал, что перевёл неверно. Это Ершов помнил. Онисим был честный человек. Только честность у него была книжная: слово в слово.

— Ибрагим бы лучше, — сказал Ершов.

— Ибрагим болен, — сказал Вешняков.

Он сказал это тем же голосом, каким сказал «не бросили», и Ершов опять не понял, верит он или нет.

Вешняков пошёл к сходням. Ершов — за ним.

У сходней Вешняков остановился и сказал, не оборачиваясь:

— Я тебя девять месяцев гонял по уезду. Ты, должно быть, думаешь — за справу.

Ершов ничего не ответил.

— За справу тоже, — сказал Вешняков. — Но не только. — Он помолчал. — После Шудерсолы ты один знал, что искать.

Паром стоял у этого берега. Перевозчик сидел на бревне, без шапки, и смотрел на Вешнякова так, как смотрят на погоду, которая может испортиться.

Онисим пришёл к перевозу после полудня — на той стороне показался, высокий, сутулый, в длинном кафтане, с сумой через плечо, — постоял у воды, будто размышлял, не перейти ли вброд, и всё-таки ступил на паром. Пока его везли, он смотрел на воду, как читают незнакомое письмо.

Он сошёл на берег, поклонился.

— Тимофей Андреевич. Ефим Ларионович велел. — Он оглядел караульную избу, Ершова, реку, лошадь у коновязи. — Воды нет у тебя? Я с утра не пил.

Ершов налил ему из ведра.

Онисим выпил, медленно, до дна. Вытер губы. Посмотрел в пустой ковш.

— Речная, — сказал он. — Можно было и не спрашивать.

Перевозчик, отвязав паром, тянул его обратно. Посреди реки он обернулся и крикнул через воду, Ершову, без злобы, по-деловому:

— С толмача — две деньги! Как с Ефима Ларионовича!

— А с меня?

— А с тебя — восемь! — крикнул перевозчик. — Ты местный!

# Глава пятая. «Я там был»

Онисима Ершов оставил у перевоза.

Онисим не возражал. Он сидел в караульной избе у окна, разложив на коленях тетрадь, и писал в неё что-то мелко, столбцом, по-русски и по-татарски, — слова, которые, как он сказал, услышал на пароме от каких-то баб и не понял. Ершов спросил, какие слова. Онисим прочёл. Ершов тоже не понял. Онисим кивнул, будто это его утешило, и продолжал писать.

— К Ибрагиму пойду, — сказал Ершов.

— Он болен, — сказал Онисим, не поднимая головы.

— Вот и посмотрю.

Онисим поднял голову и посмотрел на Ершова — внимательно, как смотрят на слово, у которого может быть второе значение. Потом опустил голову и стал писать дальше.

В слободу Ершов пошёл пешком, через посад.

Он шёл мимо Гостиного двора, мимо рядов, — Аграфенина лавка была в другом конце, он туда не свернул, — мимо Булака, вниз, к озеру. Утро было серое, тёплое, с ветром от воды. В Татарской слободе пахло дымом, кислым молоком и конским навозом, и ещё чем-то, чего Ершов не знал, — какой-то травой, которую жгли в очагах. У мечети на площадке стояли старики. Говорили. Увидели его — приказный кафтан, русская шапка, — перестали говорить. Он прошёл мимо. За спиной заговорили опять, тише.

Дом Ибрагима стоял у самой воды, в проулке: ворота, глухой забор, за забором изба под низкой тесовой крышей и навес. Ершов был здесь один раз, давно, в первую свою казанскую осень, — тогда во дворе был мальчик лет семи, колол щепу, и маленькая девочка, и старуха на крыльце, и женщина в дверях, которая сразу ушла внутрь. Ершов тогда понял, что пришёл не вовремя. Он с тех пор сюда не ходил.

Он постучал.

Долго никто не открывал. Потом за воротами что-то стукнуло, скрипнул засов, и ворота открылись.

Ибрагим стоял в воротах — в рубахе, без кафтана, босой, с непокрытой головой, — и был здоров. Совсем здоров. Небритый, с запавшими глазами, как человек, который две ночи не спал, — но здоров.

Он посмотрел на Ершова. Не удивился.

— Заходи, — сказал он.

Двор был пустой. Навес пустой, только в углу стояло корыто и висела на гвозде уздечка. Очаг под навесом холодный. Крыльцо подметено, но давно — по углам нанесло прошлогоднего листа. На верёвке через двор висела одна рубаха, мужская.

Ибрагим провёл его в избу. Изба тоже была пустая — не бедная, а пустая: нары, кошма на нарах, сундук, низкий стол, кумган у двери. На стене, где у русских образа, ничего не было — только гвоздь, на котором, видно, раньше что-то висело. Пахло холодной золой.

— Садись, — сказал Ибрагим.

Ершов сел на нары. Ибрагим сел напротив, на сундук. Положил руки на колени.

Ершов открыл рот, чтобы сказать: Вешняков говорит, ты болен.

Ибрагим заговорил первым.

— Я там был, — сказал он. — Юсуф скакал. Больше ничего не скажу.

Он сказал это ровно, будто заранее сложил и долго держал во рту.

Ершов закрыл рот.

В избе было тихо. За стеной, в проулке, кто-то прошёл, ругая телёнка. Телёнок не отвечал.

— Где — там? — спросил Ершов.

Ибрагим посмотрел на него.

— Ты знаешь где, — сказал он. — Иначе бы не пришёл.

Ершов знал. Он подумал, что знал ещё в Никольском, когда староста спросил про яйца, — не знал, но мог бы, — и что знал вчера, когда Вешняков сказал «Ибрагим болен», и что поэтому пришёл сюда один, без Онисима. Он не говорил себе этого. Он просто пришёл один.

— Ты болен, — сказал он. — Вешняков так говорит.

— Ему я сказал — болен, — сказал Ибрагим. — Тебе говорю — был. — Он помолчал. — Тебе я врать не буду. С тобой я буду молчать.

— Это одно и то же.

— Нет, — сказал Ибрагим. — Не одно.

Он встал, прошёл к двери, взял кумган, налил в чашку воды. Подал Ершову. Ершов взял — из вежливости, — подержал и не стал пить.

— Почему ты там был? — спросил Ершов.

Ибрагим сел обратно.

— Это про меня, — сказал он, подумав. — Про меня скажу.

Он сказал.

Жена прислала. Не сама — через тётку. Тётка у неё в слободе, вдова, старая, ходит на торг продавать масло; Ибрагим встречает её иногда, она отворачивается. В четверг не отвернулась. Подошла сама. Сказала: Юсуф будет скакать. На Сабантуе. Первый раз. Ему тринадцатый год, он лёгкий, его взяли наездником. Сказала: мать велела передать отцу. Больше ничего не сказала. Ушла.

— Я его восемь месяцев не видел, — сказал Ибрагим. — С тех пор как они ушли за Казанку. В дом мне хода нет. Её отец сказал — пока я в избе служу, в дом не войду. — Он помолчал. — А туда — можно. Туда все приходят. Там не дом.

— И ты пошёл.

— Я пошёл.

— Ночью.

— Затемно. — Ибрагим посмотрел в окно, на серую воду озера. — Все затемно шли.

Он замолчал, будто сказал лишнее. Потом добавил, твёрдо, как будто сам себе поставил черту:

— Это всё. Про себя — всё.

Ершов смотрел на него.

Он понимал, что ему сейчас сказали. Ибрагим нарушил память. Ту самую, что Вешняков писал, а воевода подписал, а бирючи кликали три дня по слободам. Был на сходе. И не один — «все затемно шли». На сходе, где умер человек, которого потом перенесли на дорогу. И сказал это ему, Ершову, подьячему приказной избы, сыщику, которого Вешняков послал искать, кто убил и где съезжались.

— Ты понимаешь, что я должен сделать, — сказал Ершов.

— Понимаю.

— Я должен пойти к Вешнякову и сказать: Ибрагим был.

— Должен, — согласился Ибрагим.

— Тебя возьмут.

— Возьмут.

— Спросят — кто ещё.

— Я не скажу.

— Тогда спросят сына.

Ибрагим не ответил. Он смотрел на Ершова, и лицо у него было такое, будто Ершов наконец сказал то, ради чего он тут сидел и ждал.

— Вот, — сказал Ибрагим. — Вот поэтому.

— Что — поэтому?

— Поэтому я тебе сказал. — Ибрагим положил ладони на колени, плоско. — Ты бы сам дошёл. Сегодня, завтра. И пошёл бы к Вешнякову, потому что не знал бы, что там Юсуф. — Он помолчал. — Теперь знаешь.

Ершов поставил чашку на стол.

— Ты видел? — спросил он.

— Я сказал: больше ничего.

— Ты видел, кто его?

Ибрагим молчал.

— Юсуф видел?

Ибрагим молчал.

Он молчал не так, как молчат упрямые, — сжав губы, глядя в сторону. Он смотрел прямо на Ершова и молчал спокойно, будто это и был ответ, полный и честный, и другого ответа не будет.

Ершов встал. Прошёл к окну. За окном было озеро, серое, с рябью от ветра, и на том берегу — дома, и дым, и минарет мечети, деревянный, тёмный.

— Как он скакал? — спросил Ершов, не оборачиваясь.

Он сам не знал, зачем спросил.

— Первым пришёл, — сказал Ибрагим.

Ершов обернулся.

Ибрагим сидел на сундуке, и лицо у него было другое. Он сказал это быстро, раньше, чем успел подумать, — и Ершов видел, как он это понял, и как на лице у него сначала было то, что бывает у отцов, когда их спрашивают о сыне, — а потом злость. На себя.

— Это ничего, — сказал Ибрагим, глухо. — Это про сына. Не про дело.

Ершов кивнул.

Он не стал спрашивать дальше. Он видел, что может: что Ибрагим сейчас открылся, как открывается дверь, которую плохо заперли, и что если толкнуть — откроется ещё. Он видел это так же ясно, как видел подорожник у дороги. И не толкнул.

— Я пойду, — сказал он.

Ибрагим встал.

Они вышли во двор. У ворот Ибрагим остановился.

— Ты не сказал, — проговорил он.

— Чего не сказал?

— Пойдёшь ты к нему или нет.

Ершов посмотрел на него. На небритое лицо, на запавшие глаза, на босые ноги на земле двора, на одну рубаху на верёвке.

— Не сказал, — согласился Ершов.

И вышел.

Он шёл через слободу, мимо мечети, где старики опять замолчали, когда он проходил, мимо Булака, вверх, к посаду. Шёл и думал, что надо решить. Что вот сейчас, до кремля, надо решить: туда или не туда. Он шёл, и думал, и не решал, и на развилке у Гостиного двора, где одна улица шла вверх, к Спасским воротам, а другая — вниз, к Казанке, к перевозу, он свернул вниз.

Он прошёл по этой улице шагов двадцать, прежде чем понял, что свернул.

Остановился. Постоял.

Потом понял ещё одно. Голове было холодно.

Шапки не было.

Он вспомнил: снял, когда входил в избу, — у Ибрагима низкая притолока, — положил на нары и не взял.

Возвращаться пришлось через всю слободу. Старики у мечети посмотрели на него в третий раз и на этот раз не замолчали — один что-то сказал, другие засмеялись.

Ибрагим открыл не сразу. Открыл. Стоял в воротах и держал в руке ершовскую шапку — новую, Аграфенину, ту, что она прошлым летом купила взамен потерянной.

Подал.

Ершов взял.

— Эта хоть впору, — сказал Ибрагим.

И закрыл ворота.

# Глава шестая. Кабала

В избе Ершов не был две недели и за две недели в ней прибавилась доска.

Доска висела у двери, снаружи, под навесом крыльца, прибитая к стене двумя гвоздями. На доске было написано углём, крупно, Пантелеевой рукой, с «т», у которых хвост уходил вниз: в понедельник — челобитные по земле, во вторник — по долгам и кабалам, в среду — по татьбе и бою, в четверг — ясачные, в пятницу — всякие, в субботу — до обеда. Ниже, мельче: «А кто придёт не в свой день, тому ждать своего».

Читать доску никто не умел. Поэтому у доски стоял сторож и читал её вслух каждому, кто подходил к крыльцу. Голос у сторожа был сиплый. К середине дня, сказал он Ершову, совсем садится.

— А раньше как было? — спросил Ершов.

— Раньше все шли разом, — сказал сторож. — И Пантелей ругался. — Он подумал. — Теперь Пантелей не ругается. Теперь я.

Была среда. День татьбы и боя. У крыльца стояли трое: мужик с подбитым глазом, баба с курицей под мышкой и парень, который, кажется, сам не знал, по какому он делу, и стоял на всякий случай.

Ершов прошёл мимо них.

В избе всё было как прежде, только чище. Пантелей у печи, над книгой. Рукавишников на своей лавке — Ершов увидел его шею и вспомнил гуся, и ему пришлось отвернуться. Вешняков за дьяковым столом, прямой, длинный, с пером. На столе — ничего лишнего: чернильница, песочница, стопка, ещё стопка. Квас без мухи.

— Тимофей Андреевич, — сказал Вешняков, не поднимая головы.

— Ефим Ларионович.

— У Ибрагима был?

— Был.

— И как?

Ершов сел на своё место у окна. Окно было то же. Чернильница его, закрытая тряпицей, — та же. Кто-то, видно, всё это время её не трогал.

— Не придёт пока, — сказал Ершов.

— Сказал, когда?

— Не сказал.

Вешняков кивнул и стал писать дальше.

Ершов смотрел на его перо. Он сказал правду — дважды. Ибрагим не придёт. Ибрагим не сказал когда. Ни одного ложного слова. Ершов подумал, где он этому научился, и не захотел додумывать.

— Пантелей, — сказал он. — Мне книги нужны. Крепостные. За два года. Где новокрещён Денис.

Пантелей поднял голову от своей книги и посмотрел на Ершова поверх неё, долго, как смотрят на человека, который попросил принести воды из колодца решетом.

— Денис, — сказал Пантелей. — Лошадник.

— Он.

— За два года, — повторил Пантелей. Вздохнул. Встал.

Книги принёс сторож — две, в кожаных переплётах, растрёпанные, с закладками из щепок, — и положил перед Ершовым на стол. Пантелей сел рядом, раскрыл первую, послюнил палец и стал листать.

Денис был везде.

Ершов понял это на третьем листе. Кабала. Кабала. Ещё кабала. Денис давал в долг — под лошадь, под корову, под кожу, под хлеб на корню, — и записывал в крепостную книгу всё, до последнего, как будто не доверял ни людям, ни своей памяти. Брал с русских и с татар. С крещёных и с некрещёных. С посадских, с ясачных, с одного стрельца, с одного попа — поп заложил ему ризу, и Пантелей, дойдя до ризы, перекрестился. Денис был человек чистый в делах.

— Четырнадцать, — сказал Пантелей, закрыв вторую книгу. — За два года. Это ещё не все. Он, говорят, и без книги давал.

— Какие с конями?

Пантелей поглядел на него с уважением. Открыл снова.

С конями было шесть. Ершов выписал их на лист — кто, когда, сколько, что в залог, до какого срока. Пантелей диктовал, а Ершов писал, и Рукавишников со своей лавки слушал, как слушают чужой разговор в кабаке: делая вид, что не слушает.

Две кабалы были уплачены — на поле стояла помета, что деньги отданы и кабала выдана назад. Одна — просрочена ещё прошлой осенью, и на поле Пантелеевой рукой: «по сей кабале доправлено». Две — со сроком к Покрову. И одна —

Ершов остановился.

— Читай, — сказал он.

Пантелей прочёл, водя пальцем:

«Се яз, Казанского уезду деревни Чулпаново ясачной татарин Айтуганко Кадыров сын, занял есми у казанского новокрещена у Дениса Иванова сына денег шесть рублёв ходячих до Николина дни вешнего будущего сто семьдесят первого году. А в тех деньгах заложил есми ему свою кобылу шерстью серу, грива на леву сторону, на лбу лысина, правая задняя нога по щётку бела, лет шести. А не заплачу я, Айтуганко, тех денег на срок, и ему, Денису, та кобыла взять себе в тех деньгах. А на то послухи…»

Дальше шли послухи — двое русских с посада, один татарин, — и площадной подьячий, который писал, и что вместо Айтуганка, по его веленью, руку приложил такой-то, потому что Айтуганко грамоте не умеет. И год, и месяц. Позапрошлая осень.

— До Николина дни вешнего, — сказал Ершов.

— До Николина, — согласился Пантелей. — В субботу.

— А в воскресенье его нашли.

Пантелей посмотрел на него. Потом на книгу. Потом опять на него. Ничего не сказал. Только палец, который он держал на строке, медленно убрал.

Ершов переписал кабалу целиком. Слово в слово, как Онисим. Кобыла шерстью сера, грива на леву сторону, на лбу лысина, правая задняя по щётку бела. Шесть лет — значит, теперь восьмой год. Он смотрел на эту кобылу на листе и видел её так, будто она стояла у окна: серая, с белой ногой, с лысиной на лбу.

Ещё он думал о субботе. О том, что в субботу кабале вышел срок. Что Денис, человек чистый в делах, должен был это знать, как знал всё, — и что в воскресенье, затемно, он был где-то на лугу, где ему, крещёному, нечего было делать на запрещённом татарском празднике. Разве что взять своё.

Он ничего этого не сказал вслух.

Почта пришла перед обедом.

Её привёз гонец, московский, весь в дорожной грязи до пояса, и сторож у крыльца, начавший было читать ему доску, сбился и замолчал. Гонец прошёл в избу, поклонился, отдал Вешнякову сумку, Вешняков расписался в получении, и гонец ушёл — есть и спать, — и в избе стало тихо, как бывает тихо, когда пришла почта.

Вешняков вскрывал сам. Одну за другой. Читал, откладывал: эту Пантелею, эту — себе, эту — воеводе. Лицо у него было такое же, как всегда.

Одну он прочёл дважды.

Потом сложил, открыл ящик стола — тот, где, Ершов знал, лежала прошлогодняя память и бумажка без копейки, — положил её туда и закрыл. И взял следующую.

Ершов видел это. Пантелей видел. Рукавишников, кажется, не видел: он ковырял заусенец.

После обеда, уходя к воеводе с той пачкой, что воеводе, Вешняков открыл ящик, достал её опять и положил перед Пантелеем.

— К Кочергинскому делу.

И ушёл. Рукавишников тоже ушёл куда-то сам. Пантелей сидел над книгой, и когда Ершов подошёл к нему вернуть крепостные книги, Пантелей, не поднимая головы, сказал:

— Кочергина казнили.

Ершов стоял с книгами в руках.

— Когда?

— В апреле. В Москве. — Пантелей перевернул лист. — За Ухова. И за пожар. — Он помолчал. — Грамота пришла, чтоб у нас знали. Дело-то наше.

Ершов положил книги на стол.

Он помнил Кочергина в цепи, у Ухова двора, с ведром, — молодого, рьяного, чёрного от сажи, — как тот тушил до утра, по-настоящему, сорок дворов, которых не хотел. Помнил, как Кочергин сказал на расспросе: «Я помогал делу». Помнил, как Вешняков сам повёл его к губному, через весь кремль, и никто не смел на них смотреть.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.